

Пугачев

(Народность и реализм Пушкина)

1

В шестой главе «Евгения Онегина» Пушкин прощался со своей молодостью:

Так, полдень мой настал, и нужно
Мне в том сознаться, вижу я.
Но, так и быть: простимся дружно,
О юность легкая моя!

Дай оглянусь. Простите ж, сени.
Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души.

А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь...

Кажется, никто другой так не смог об этом сказать; так хорошо, так правильно, с таким честным отношением к жизни. Сколько было «старчески умных» писателей, никогда этой молодости не знавших; сколько стихотворцев, наоборот, так и не сумевших стать взрослыми и до конца своей жизни остававшихся стареющими молодыми людьми (и как они плакали о своих лысынах и седирах!); наконец, сколько Ленских остепенилось, очерствело и кончило подагрой и стеганым халатом.

Глубокая человечность выраженного в этих пушкинских строках чувства — не от веры в мудрое устройство мира.

Это Ленский думал, что «все благо», но вовсе не Пушкин. Много раз с полным правом протестовали против разговоров о том, что Пушкин будто бы все приемлет и все благословляет¹. Не был таким Пушкин. Не были такими ни Моцарт, ни Гёте.

¹ «Такой пассивизм — в сущности худшее обвинение Пушкина... Слащавая всеприемлемость отнюдь для Пушкина не характерна... Во всяком случае с таким жалким «мировоззрением» не только что лезть в классики, но вообще щеголять публично не особенно удобно». Б. Томашевский, Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения. 1925, стр. 102.

Эта человечность в отсутствии эгоизма, в памяти о людях; ощущение, прямо противоположное тому, о котором говорил Лермонтов: «Жизнь моя — я сам, я, говорящий теперь с вами и могущий в миг обратиться в ничто, в одно имя, т. е. опять-таки в ничто... Страшно подумать, что настанет день, когда я не могу сказать: я! При этой мысли весь мир есть не что иное, как ком грязи»¹.

Пушкин писал Плетневу: «Дельвиг умер. Молчанов умер, погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки...»².

Для Пушкина мир никогда не превращался в комок грязи, потому что Пушкин знал: мной все это не кончается; Пушкин помнил, что кроме его я существуют другие я, младая жизнь, потомство, новые поколения, будущее.

Один автор утверждал, что «быть может лучшей характеристикой сущности всей стихийной мудрости поэта» является следующая формула:

Жизнь для жизни мне дана.

В этой бессмысленной и косноязычной тавтологии Пушкин, разумеется, не повинен. Она взята не у Пушкина, а из стихотворения Ф. Ключникова, которое сам упомянутый толкователь пушкинской мудрости вынужден признать «довольно слабым».

Говорят о «полноте бытия» как о пафосе пушкинской поэзии. Нужно разграничивать: о своем стремлении к «полноте бытия» может заявлять и человек одушевленный, по сути дела к этому бытию равнодушный, который в этом бытии, в людях, видит лишь средство, повод для увлекательных и просто приятных переживаний: иногда хищническое, иногда просто гастрономическое отношение к жизни.

Бесконечно далека от этого «трудолюбивая, благородная и могучая личность Пушкина»³. Пушкинская «полнота бытия» — в ощущении своей связи с другими людьми и с историей.

Другой поэт говорил о музе:

Надменная — когда меж нас проходит
 Рукою подбирает платье. Пальцы
 И кольца хороши на розовых у ней
 И тонких пальцах — только, верно, руки
 Холодные — и все глядит на них
 С улыбкою она — уж так довольна.

Не такой живет между нами муза Пушкина. Не искусство для искусства, которое кроме себя самого ничего не любит и не знает; и не «жизнь для жизни».

Ты понял жизни цель: счастливый человек,
 Для жизни ты живешь.

¹ Письмо М. А. Лопухиной, сентябрь 1832 г. (подлинник на франц. языке).

² Июль 1831 г. Письма. Под ред. Л. Б. Модзалевского, т. III, стр. 37.

³ Слова Чернышевского. А. С. Пушкин. Чтение для детей (1856). Соч. т. X.

Это Пушкин сказал не о себе. О себе он сказал другое:

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.

Не черстветь, не ожесточаться, не замыкаться в демоническом отрицании всего существующего — мыслить и страдать, искать в трудной жизни того, что было бы по-настоящему достойным любви.

2

В начале XIX столетия, писал Добролюбов, русская поэзия решила сознаться, «что действительный мир не так хорош, как она его изображала. Но зато она нашла утешение нам в каком-то другом, эфирном, туманном мире, среди теней, привидений и прочих призраков». Напротив, Пушкин «умел постигнуть истинные потребности и истинный характер народного быта»¹. «И в этом-то заключается великое значение поэзии Пушкина: она обратила мысль народа на те предметы, которые именно должны занимать его, и отвлекла от всего туманного, призрачного, болезненно-мечтательного, в чем прежние поэты находили идеал красоты и всякого совершенства. Потому не должно казаться странным, что очарование нашим бедным миром так сильно у Пушкина, что он так мало смущается его несовершенствами. В то время нужно было еще показать то, что есть хорошего на земле, чтобы заставить людей опуститься на землю из их воздушных замков. Время строгого разбора еще не наступало, и Пушкин не мог вызвать его ранее срока. Да это было бы и бесполезно: немногие избранные тогда поняли бы его, а масса осталась бы при своих мечтаниях. Теперь же стих Пушкина приготовил форму, в которой уже могли потом явиться высшие создания, а его влияние на публику сделало ее способнее к принятию и пониманию этих созданий. Она поняла уже цену жизни в сладкозвучных строфах Пушкина, и теперь самое горькое негодование на житейскую пошлость только подымет людей к исправлению, а не унесет их от земной действительности в надзвездные пространства»².

В этой прекрасной характеристике быть может проскальзывает несправедливая мысль о том, что Пушкин все-таки слишком легко прощает миру его несовершенства, — хотя Добролюбов и не ставит этого в упрек Пушкину, — наоборот, он это оправдывает. (К тому же Добролюбов вовсе не изображает Пушкина легкомысленным опти-

¹ Ср. с Чернышевским. Чернышевский говорит о «точности, выразительности и красоте» пушкинского стиха. «Но этим не ограничиваются заслуги Пушкина. Сначала более всего поражены были читатели теми художественными достоинствами его стихотворений и поэмы, о которых мы уже сказали. Но мало-помалу все начали увлекаться и другим качеством этих произведений. Это важнейшее качество состояло в том, что Пушкин первый стал описывать русские нравы и жизнь различных сословий русского народа с удивительною верностью и проникательностью» (цит. статья).

² Добролюбов, Александр Сергеевич Пушкин. Соч. под ред. Крайнихфельда. Т. I, стр. 68—70.

мистом, он находит в его лирике «постоянное искание чего-то, неудовлетворимое настоящим»). Основная идея этой характеристики, разумеется, глубоко правильная.

Не так давно один пушкинист спрашивал: имеет ли Пушкин для нас значение как «политический агитатор и обличитель общественного строя его времени», и (с оговоркой о декабристских стихах Пушкина) отвечал отрицательно, настаивая на том, что нельзя рассматривать существо пушкинской поэзии в том плане, в каком мы рассматриваем Рылеева, Некрасова, Гоголя, Щедрина. В заключение этот пушкинист выяснял значение Пушкина на примере пушкинского стихотворения «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем» (не позабыв, конечно, привести знаменитые слова Аксакова: «боже, как он об этом рассказали!»).

Мы думаем, что прав Добролюбов, а не этот пушкинист. Произведения большого общественного содержания вовсе не обязательно обличают эксплуататорский строй прямо и непосредственно — так, как это делает Некрасов. Ведь не отрицаем же мы этого общественного содержания, например, у Шекспира.

Было бы неправильным противопоставлять пушкинскую любовь той ненависти, критике, прямому обличению, которые находим позднее у Гоголя, Щедрина, Некрасова. Во-первых, эта пушкинская любовь очень разборчивая. На Троекуровых, например, она не распространяется. Во-вторых, это пушкинское отношение к жизни не является чем-то таким, о чем можно забыть, когда та историческая задача, о которой говорит Добролюбов, уже выполнена; это не только историческая предпосылка позднейшей обличительной литературы, но и необходимый компонент этой литературы; больше того — ее основа.

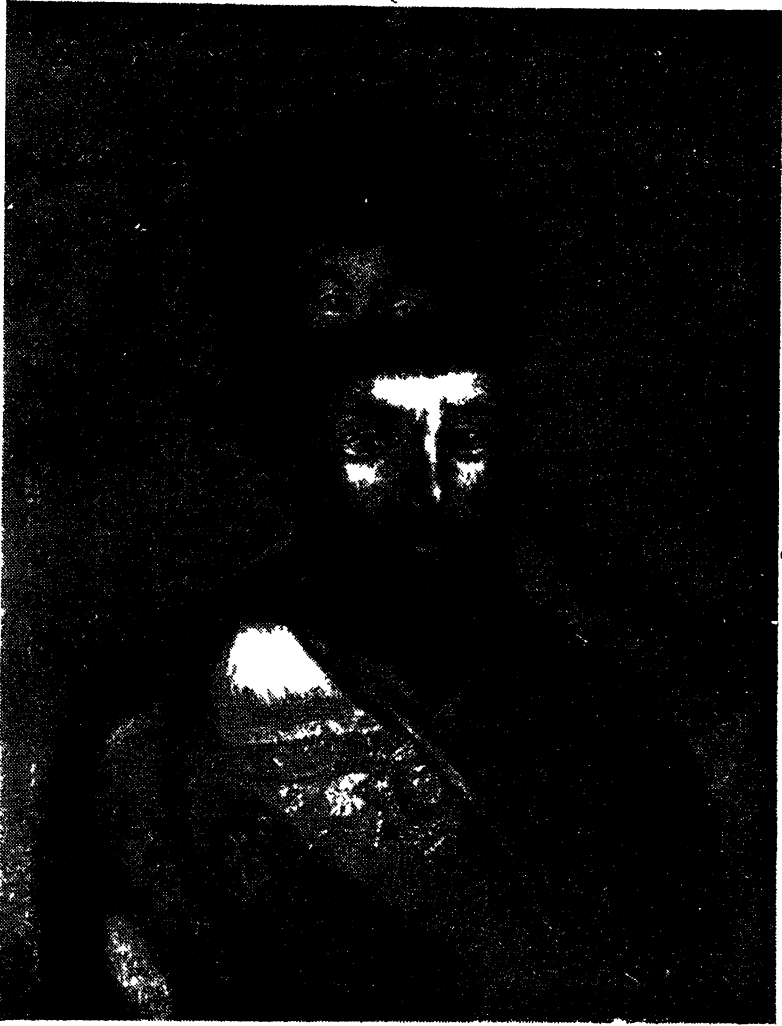
По-настоящему действенной и плодотворной критика эксплуататорского строя бывает лишь тогда, когда в ней содержится определенное положительное отношение: отношение к тем массам, ради которых, от лица которых этот эксплуататорский строй критикуется. Без этого отношения вместо критики эксплуататоров может получиться совсем другое: критика человечества «в общем и целом»; «все презираю, все ненавижу» — правых и виноватых.

Вот это положительное отношение (ничего общего не имеющее с готовностью все принять и все благословить) и нужно было найти. Та общественная критика, которую давали поэты-декабристы и сам Пушкин в ранних своих стихотворениях, была абстрактной; она была такой же далекой от народа, как сами носители этой критики.

Конечно, стихотворенье «Нет я не дорожу...» — замечательное стихотворенье. Но мы думаем, что не менее замечательна пушкинская повесть о Пугачеве — одно из величайших созданий Пушкина на этом его пути к народу.

3

«Не приведи бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный!» Выражают ли эти столько раз цитировавшиеся слова основной смысл «Капитанской дочки» или, наоборот, противоречат ему?



Портрет Емельяна Пугачева, написанный на портрете Екатерины II неизвестным художником (1773 г.)

На этот вопрос отвечали по-разному. С одной стороны, указывали на то, что в пушкинской повести есть элементы стилизации — ведь это семейные записки дворянина XVIII столетия: «Любезный внук мой, Петруша! Часто рассказывал я тебе некоторые происшествия моей жизни...»¹ Не следует отождествлять мнения Гринёва с мнениями Пуш-

¹ Из невключенного в окончательный текст предисловия к повести.

кина — в особенности это суждение о «бессмысленном и беспощадном» бунте; это — дань Пушкина цензурным условиям.

С другой стороны, утверждали, что именно в этих-то словах и заключается основное, что душкинская повесть — художественная материализация тезиса о «бессмысленности и беспощадности» русского бунта; что именно этим страхом перед крестьянским восстанием объясняется «поправение» Пушкина, будто бы происшедшее в 30-х годах; что ставя перед собой вопрос — крестьянское восстание или николаевская монархия — Пушкин будто бы безоговорочно становился на сторону этой последней; что этим страхом предопределено то изображение восстания, которое Пушкин дает в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева».

Думается, что неправильно было бы делать цензур^у ответственной за все консервативные высказывания Пушкина. И уж несомненно неверна вторая, злостно-социологическая концепция. Вероятно, правы сторонники третьей точки зрения: цензурные условия, конечно, учитывались Пушкиным; мнения Пушкина, конечно, не во всем совпадают с мнениями Гринева; слова о русском бунте могут выражать мысль самого Пушкина; но эти слова отнюдь не покрывают содержания ни «Капитанской дочки», ни «Истории Пугачева», больше того: эти слова опровергаются содержанием этих произведений.

В подтверждение упомянутой выше теории о страхе перед крестьянским восстанием, как о «движущей силе» политической эволюции Пушкина в последние годы его жизни, приводят обычно письмо Пушкина Вяземскому (3 августа 1831 г.): «Ты верно слышал о возмущениях новгородских и Старой Руссы. Ужасы. Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в Новг. поселен. (военных поселений — В. А.) со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасиловали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убит всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других — из инженеров и коммуникационных... Бунт Старорусской еще не прекращен... Действовали мужики, которым полки выдавали своих начальников. — Плохо, ваше сиятельство. Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы»¹.

Что отсюда следует? Только то, что знаменитые слова Гринева о русском бунте могут, как об этом было сказано выше, выражать взгляды самого Пушкина. Тут мы видим то препятствие, которое Пушкин должен был преодолеть и которое он преодолевал, работая над темой о крестьянском восстании.

Больше никаких выводов отсюда делать нельзя. «Теория страха как движущей силы» подтвердилась бы только в том случае, если бы удалось

¹ Письма, под ред. Л. Б. Модзалевского, III, стр. 40. Справедливо указывалось, что не нужно забывать и другого письма — Нащокин^у, 26 июня того же года, о холерных волнениях в самом Петербурге: «дело обошлось без пушек, дай бог, чтоб и без кнута» (там же, стр. 27). Пушкин думает не только о «генералах и полковниках». Трагедия, о которой он говорит в письме Вяземскому, не исчерпывается для него тем, что происходит с представителями господствующего класса.

доказать, что изображение Пугачева и пугачевцев в «Капитанской дочке» находится в соответствии с этой предполагаемой «движущей силой», а доказать это невозможно.

Когда говорят, что подход Пушкина к историческим урокам пугачевского восстания предопределен «особенностями его классовой позиции как дворянина и помещика, терроризованного призраком крестьянской революции в пору кровавых эксцессов холерных бунтов и восстания новгородских поселян в 1831 г.», — не путают ли Пушкина с Броневским? По отношению к Броневскому такая характеристика была бы верной. Броневскому Пугачев представлялся как раз таким, каким он должен был представляться «дворянину, терроризованному» и т. д. Броневский писал о Пугачеве так, как могла бы это делать Коробочка, если бы она занялась историей и литературой. Пушкин писал о Пугачеве по-другому¹.

Известен интерес Пушкина к образу дворянина-отщепенца, вступающего в конфликт со своим классом, дворянина, оказывающегося в той или иной форме причастным к крестьянскому движению. Об этом интересе говорили, в частности, и сторонники «теории страха». Что же, спрашивается, этот интерес был вызван тоже страхом? Пушкин боялся того, что среди дворян могут найтись люди, которые переждут на сторону восставшего крестьянства, боялся измены, предупредил, заранее бил тревогу: смотрите, мол, за этими отчаянными Дубровскими, как бы они не предали своих братьев по классу. Добровольный осведомитель, отличающийся от Булгарина только тем, что действует в каком-то более «высоком» плане? Так, что ли? Предположение дикое, абсурдное, со всем обликом Пушкина совершенно несовместимое.

4

«Кончая с дворянской легендой о бессмысленном бунте, — писал М. Н. Покровский², — архив Пугачева кончает и с дворянским же изображением крепостного крестьянина, как некое святого юродивого, некое бессловесной скотины. Стряхнув барина, этот крестьянин сразу приобретает способность и говорить и действовать по-человечески — полтора ста лет тому назад, как и теперь». «Пугачевцы не только жгли усадьбы и вешали помещиков — они писали».

Пушкину все это было известно задолго до М. Н. Покровского: и то, что они писали, и то, что они говорили и действовали по-человечески.

«Первое возмутительное воззвание Пугачева к Яицким казакам есть удивительный образец народного красноречия (подчеркнуто нами. — В. А.), хотя и безграмотного. Оно тем более подействовало, что объявления, или публикации Рейнсдорпа были писаны столь же вяло, как и правильно, длинными обиняками, с глаголами на конце периодов» (Заметки к «Истории Пугачева»).

¹ Цитаты из статьи Пушкина против Броневского приводились многими авторами. Мы приводим эти цитаты ниже.

² В предисловии к I т. «Пугачевщины» изд. Центрархива, 1926 г.

Здесь гораздо больше непосредственного отношения к писаниям пугачевцев, увлечения ими, чем в том, что говорит о «штиле» этих писаний М. Н. Покровский, по мнению которого слог пугачевских бумаг не так-то уж сильно отличается от слога правительственных манифестов той эпохи¹.

В примечаниях к четвертой главе «Истории» Пушкин с явным удовольствием приводит ответ пугачевцев на письмо, которое Рейнсдорп послал «Пресущему злодею и от бога отступившему человеку, сатанину, внуку, Емельке Пугачеву». Секретари Пугачева не остались в долгу. Помещаем здесь письмо Падурова как образец канцелярского его слога: «Оренбургскому губернатору, сатанину внуку, дьявольскому сыну. Прескверное ваше увещевание здесь получено, за что вас, яко всескверного



.....

Печать и подпись Пугачева

общему покою ненавистника, благодарим... Разумей, бестия, хотя ты по действию сатанину во многих местах капканы и расставил, однако, ваши труды останутся вотще, а на тебя здесь хотя веревочных не станет петель, а мы у Мордвина, хоть гривну дадим, мочальных (возьем), да на тебя веревку свить можем; не сомневайся, мошенник, из б... сделан».

Противопоставление, намеченное в словах о воззвании Пугачева и публикациях Рейнсдорпа, Пушкин проводит систематически.

«Разбирая меры, предпринятые Пугачевым и его сообщниками, должно признаться, что мятежники избрали средства самые надежные и действительные к достижению своей цели. Правительство со своей стороны действовало слабо, медленно, ошибочно».

Это противопоставление развернуто в «Капитанской дочке». Военный совет у Пугачева: «Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой

¹ См. цитированное предисловие,

казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся... Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъясляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкой. Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспаривал Пугачева. И на сем то странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом».

Военный совет у генерала: «Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом... — «Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно». «Э-хе, хе! мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника... рублей семьдесят или даже сто... из секретной суммы...». «Господа, подайте голоса ваши по законному порядку». «Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек за крепкою каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастье оружия»¹.

В этих противопоставлениях народное движение выступает как смелое, талантливое, как поэтическое в самом серьезном и значительном смысле этого слова.

Блжк сказал бы, что Пушкин услышал «музыку» крестьянского восстания. Конечно, для Пушкина дело не сводится к поэзии стихийного. Пушкин видит и оценивает рациональное начало движения, когда говорит о действительности средств, примененных пугачевцами, о роли Белоборо-

¹ «Пугачевцы у Пушкина,— правильно отмечает А. Грушкин,— здоровые, мощные люди, действующие решительно и дерзко,— оренбургские чиновники — это дряхлые, смешные старички, предлагающие действовать «осторожно», подкупом, хитростью, трусливые и нерешительные. Все эмоционально действующие, насыщенные героизмом речи вложены Пушкиным в уста Пугачева и Хлопуши — оренбургские чиновники говорят у него вяло, тягуче, без всякого эмоционального напряжения» (А. Грушкин, К вопросу о классовой сущности пушкинского творчества. 1931, стр. 41).

К сожалению, в книге А. Грушкина значение стелтельных верных замечаний сводится на-нет неправильной общей концепцией автора, несомненно вульгарно-социологической. «Заставить «шестисотлетнего дворянина» Пушкина... дать определенный социальный заказ, этого не могло сделать ни крепостное крестьянство, ни малокультурное городское мещанство». Пушкин «творил волю нарождавшейся разночинной интеллигенции». К тому же он сам, «по своему социальному положению... являлся разночинцем, продающим за деньги свой труд». Пушкин-художник, по мнению автора, «стремится к типично мещанскому идеалу». Автор находит у Пушкина «грубо реалистические выражения», «грубый реализм», «натурализм». Напротив, в «Каменном госте» А. Грушкин усматривает «феерически-слащавый романтизм», «отрыжку (!) дворянского романтизма», «отрыжку (!) процдого».

дова, который «ввел строгий порядок и повиновение в шайках бунтовщиков». В «Капитанской дочке» Хлопуша произносит слова, никак не вяжущиеся с представлением о «бессмысленности» русского бунта¹.

Но это именно поэзия. Пушкин назвал Разина «единственным поэтическим лицом в русской истории». В «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева» поэтическое отдано пугачевцам, они являются его носителями.

На народном красноречии строятся разговоры Пугачева в «Капитанской дочке». «Вожатый мой мигнул значительно и отвечал договоркою: «В огороде летал, конопля клевал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?» — Да что наши! — отвечал хозяин продолжая иносказательный разговор. — Стали было к вечеру звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте. «Молчи, дядя», — возразил мой бродяга — «будет дождик, будут и грибки; а будут грибки будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит».

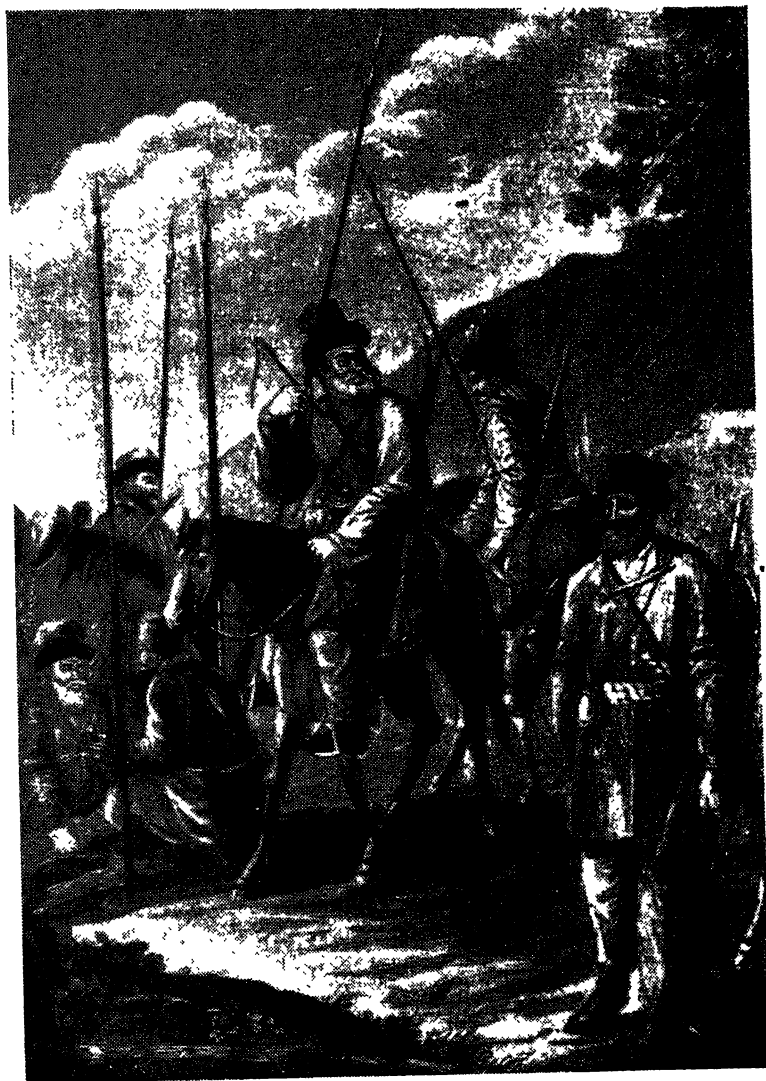
«Небо с ювчинку показалось». «Кто ни поп, тот батька», «Казнить так казнить, миловать так миловать», «Не беда, если бы все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной: беда, если наши кобели меж собою перегрызутся», «Закутим, заьем — и ворота запрем!». «Дай вам бог любовь да совет!». Речь Пугачева то и дело переходит в песенный склад. «А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал?» «Послужи мне верой и правдою». «Ступай себе на все четыре стороны...» «Выходи, красная девица». «Возьми себе свою красавицу».

Это не какая-то внешняя орнаментация. В этом весь пушкинский Пугачев. «Слушай — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. — Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел² спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-на-все только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать, да похваливать. Орел клоннул раз, клоннул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст!».

¹ В ответ на желание Пугачева немедленно повесить Швабрину «Прикажи слово молвить», — сказал Хлопуша хриплым голосом. «Ты поторопился назначить Швабрину в коменданты крепости, а теперь горюешься его вешать. Ты уж оскорбил казакон, посадив дворянина им в начальники; не дугай же дворян, казня их по первому наговору». Это не проявление какой-то снисходительности к дворянству, это классовая сознательность. Хлопуша говорит, как политик, как государственный человек.

² С орлом сравнивает Пушкин Пугачева и в одном из эпиграфов к «Капитанской дочке» (к главе X, из Хераскова).

Взяв дуга и горы
С вершины, как орел, бросал на град он взоры...



Уральские казаки на лошадях. Гравюра с рис. Вебера (XVIII в.)

На песне построена одна из основных сцен «Капитанской дочки». После военного совета пугачевцы поют «заунывную бурлацкую песню» (ее поют и в «Дубровском»):

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне доброму молодцу думу думати.

«Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — все потрясло меня каким-то психическим ужасом.»

Это говорит не Гринев, не автор семейных записок, не Белкин XVIII столетия, и уж, конечно, не терроризованный дворянин XIX. Это говорит тот, кто не отступал перед тем, «что гибелью грозит». Это — сам Пушкин, это его вдохновение — как он сам определил его: «расположение души к живому принятию впечатлений», которое не изменило ему и там, где его «братья по классу» испытывали страх совершенно не психического свойства.

5

Гриневу снится сон. «Я находился в том состоянии чувств и души, когда сущность, углубая мечтаньям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал, и мы еще блуждали по снежной метелье...»

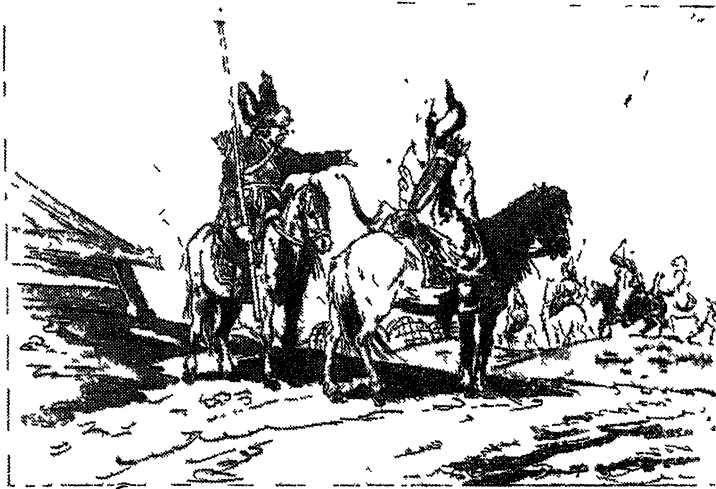
Это продолжается метель, в которой Гринев только что встретился с Пугачевым.

«В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло. «Ну барин», — закричал ямщик, — «беда: буран!»... Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным»¹...

«...матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише», — говорит она мне, — «отец болен, при смерти, и желает с тобою проститься». — Пораженный страхом, я иду за нею в спальню... Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?... Вместо отца моего, вижу, в постели лежит мужик с черной бородой, весело на меня поглядывающий. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: — Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у мужика? — «Все равно, Петруша», — отвечала мне матушка, — «это твой посаженный отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит»... Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины

¹ Можно вспомнить записанную самим Пушкиным песню:

Поднималась с гор погорушка все хурта вьюга,
Все хурта подымалась с гор, погорушка полуденная.
Сбивала-то она добра-молодца со дороженьки,
Прибивала-то она молодца ко городу,
К тому же то ко городу ко незнакомому.



Башкиры. Раскрашенная гравюра Гейслера (XVIII в.)

и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, походи под мое благословение»... Ужас и недоумение овладели мною...»

Ветер, который кажется одушевленным, как-то связан и с песенной природой пушкинского Пугачева и с «пиитическим ужасом». Сон — пророческий, как сны в «Онегине» и в «Годунове»; но здесь этот сон имеет особое значение. Это — введение, пролог; с исключительной силой здесь выражена борьба тех чувств, которые вызывает у Пушкина его тема. Потом объяснится, почему отец, почему «густь он тебя благословит». Но тут это личное, интимное соприкосновение, эта близость к образам крестьянского восстания — все это дикое, иррациональное: мужик с черной бородой в отцовской постели, топор, мертвые тела. Пушкин проверяет — благоразумному дворянину сама постановка вопроса показалась бы дикой — можно ли принять это? Нельзя: мертвые тела, страшно. Но страшный мужик ласково кличет: «не бойсь».

Такой ли уж он страшный в конце концов?

«Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту?» — закричал он. — «Будь он семи пядей во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?»».

Хлопуша спорит с Белобородовым. «Конечно», — отвечал Хлопуша, — «я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костлявый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутьи да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором».

Не все такие. Белобородов предлагает свести Гринева в приказную

«да запалить там огоньку». Но это рационально мотивировано: «Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать, а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостагами?... «мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров». Самому Гриневу «логика старого злодея» кажется «довольно убедительною».

Смягчать резкость конфликта, замалчивать «жестокое» было бы неверным решением задачи. Трудность была в том, чтобы понять это «жестокое» и оправдать его.

Пушкин сперва рассказывает об изуродованном башкирце и лишь потом о смерти Ивана Кузьмича и Василисы Егоровны.

«Башкирец с трудом шагал через порог (он был в колодке) и, сняв высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого роста, тощ и согбен; но узенькие глаза его сверкали еще огнем. «Эхе!», — сказал комендант, узнав по страшным его приметам одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году... «Якши», — сказал комендант: — «ты у меня говоришь. Ребята! сымите-ка с него дурацкий полосатый халат, да выстрочите ему спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его!».

Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда ж один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плетель и замахнулся; тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок»¹.

Когда крепость была взята и капитана потащили к виселице, «на ее перекладине очутился верхом изуродованный башкирец, которого допрашивали мы накануне». «Трудно сказать, — пишет В. Б. Шкловский, — какво было первоначальное намерение Пушкина: снимала ли эта сцена чувство жалости к башкирцу, или она снимала чувство ненависти к людям, которые казнили «доброего коменданта»².

Вряд ли здесь могут быть какие-либо сомнения. Какой смысл имело бы вызывать эту жалость к башкирцу («слабый, умоляющий голос», «никогда не забуду») лишь для того, чтобы потом «снять» ее? Пушкин с большой симпатией относится к Ивану Кузьмичу и его жене. Казалось бы, рассказ об их смерти был самым подходящим случаем для того, чтобы возмутиться «жестокостями» и заставить читателя проливать слезы.

¹ Ср. в заметках к «Истории». «Казни, произведенные в Башкирии генералом князем Урусовым, невероятны. Около 130 человек были умерщвлены среди всевозможных мучений. [Иных растыкали по кольям, других повесили ребром за крюки, некоторых четвертовали]. Остальных, человек до тысячи (пишет Рычков) простили, отрезав им носы и уши. — Многие из сих прощенных должны были быть живы во время Пугачевского бунта».

² В. Шкловский, О стиле и мироощущении. «Красная повесть» 1936 г. № 4, стр. 215.



Калмыки на конях. Раскрашенная гравюра Гейслера (XVIII в.)

Пушкин ничего не замалчивает: вешают Ивана Кузьмича, вешают поручика; Василису Егоровну, «растрепанную и раздетую донага», ударяют саблями по голове, но «установки на слезы» нет в этом рассказе, и эмоциональные характеристики, выражения сострадания здесь несравненно скуднее, чем там, где идет речь о допросе башкирца.

«Не бойсь» говорил Гриневу «страшный мужик». Гринева собираются вешать. Ни «зверских лиц», ни «кроважидных воплей», никаких «утонченный злобы», наоборот, все продельвается с каким-то добродушием: «Меня притащили под виселицу. «На бось, не бось», повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить».

Стоит сравнить это с картинами французской революции в «Повести о двух городах» Диккенса: женщины-фурии, фантастические изверги, которые просят занять для них место перед гильотиной и рассуждают о том, как интересно было бы увидеть гильотинируемого ребенка. Диккенс понимает, что французский народ имел основания ненавидеть своих угнетателей. «Мы сделали много зла и теперь пожинаем его плоды», говорит Дарней. Диккенс показывает это зло, не жалея красок. Но нужно прощать обиды. Те, кто не умеют прощать, в ком живет ненависть, теряют облик человеческий.

Как далек от этой лжи, как свободен от этого мещанского христианства Пушкин, который в самой «жестокости» видит человечность. Как здесь не вспомнить столько раз вспоминавшийся гениальный образ, равного которому не найдется, быть может, во всей мировой лите-

ратуре,— образ кузнеца Архипа в «Дубровском». Архип не хочет отпереть двери горящего дома, в котором погибают приказные, и тот же Архип спасает «божью тварь», «...кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть — со всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканием призывало на помощь»... «...поставя лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец с своей добычей полез вниз.» ...«Счастливо, не поминайте мня лихом.»

В «Истории» о «жестокостях» пугачевцев рассказывается сухо, протокольно, «бесчувственно» (единственное исключение составляет рассказ о смерти сына и дочери Харловых). Но вот говорится о поражении Пугачева — и слышится совсем другая, лирическая и глубоко человеческая интонация. Николай, редактировавший «Историю Пугачева», пометил: «Лучше выпустить, ибо связи нет с делом»¹. Насколько это «не связанное с делом» было важным для самого Пушкина, видно из того, что принимая другие поправки, этих слов он не выпустил, а перенес их в примечания.

«Они наскоро перевязывали свои раны и спешили к Яицкому городку. Вскоре настала весенняя оттепель; реки вскрылись, и тела убитых поплыли мимо крепостей. В Озерной старая казачка (Разина) каждый день бродила над Яиком, кляукою пригребая к берегу пльвущие трупы и приговаривая: «Не ты ли, мое детище? Не ты ли мой Степушка? Не твои ли черны кудри свежа вода моет?» и, видя лицо незнакомое, тихо отталкивала труп.»

Это опять песня. Кто не слышит этого голоса, не поймет пушкинского Пугачева.

Вопрос о человечности исторических сил ставился Пушкиным не только в «Капитанской дочке». Для суждения о «жестокости» и человечности Пугачева не мешало сравнить его поступки с поступками другого пушкинского персонажа. Результаты такого сравнения могут показаться странными и неожиданными. «Строитель чудотворный, Медный Всадник, разлучает Евгения с его Парашей, губит обоих. Вождь «бессмысленного и беспощадного русского бунта» соединяет Гринева с Марьей Ивановой, благословляет их: «Дай вам бог любовь да совет». Мы, конечно, не хотим сказать, что это противопоставление было сознательным; но так у Пушкина получилось.

6

«Отчего произошла такая странная дружба,— удивляются допрашивающие Гринева люди,— и на чем она основана, если не на измене или, по крайней мере, на гнусном и преступном малодушии?»

¹ Среди других его пометок любопытны следующие. Пушкин пишет: «Так бедный колодник, за год тому бежавший из Казани, отпраздновал свое возвращение!» — Николаю не нравится слово «бедный». «Суворов с любопытством рассматривает славного мятежника, в его военных действиях и намерениях» — Николаю не нравится слово «славный» (Т. Зенгер, Николай I — редактор Пушкина. «Литературное наследство», кн. 16-18).

Дружба действительно странная. «Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему».

«Но между тем странное чувство отравляло мою радость (при мысли о встрече с родителями и Марьей Ивановной — В. А.): мысль о злодее, обрызганном кровью стольких невинных жертв и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле... И опять этот лирический голос: «Емеля, Емеля! — думал я с досадою; — зачем не наткнулся ты на штык, или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать». Конечно, в фабуле повести эти чувства получают как будто рациональную мотивировку. Мотивировка эта нарочито подчеркивается. «Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслью о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина».

Этим оправданы странные для дворянина чувства Гринева; но нас интересуют странные для дворянина симпатии самого Пушкина. Спрашивается: почему фабула повернула и меня и в эту сторону? «Что прикажете делать?» — Любовь Гринева к Марье Ивановне, препятствия, стоящие между любящими, приключения дворянина во время пугачевского восстания, встречи с Пугачевым — все это можно было развенчать совсем по-другому. Никто не мешал Пушкину использовать, например, эпизод с Харловой (о котором рассказывается в «Истории» и упоминается в повести)¹ и заставить Гринева — геройски, со всяческими подвигами — спасать Марью Ивановну не от Швабрина, а от самого Пугачева. Получилось бы эдакое «блестяще выдержанное» молодецки-дворянское произведение. Пушкин этого не сделал.

Фабула построена так, чтобы реалистически оправдать «странное чувство»; это последнее предопределяет фабулу, а не наоборот.

Симпатия Пушкина к Пугачеву настолько очевидна и несомненна и настолько противоречит тем чувствам, которые (согласно социологическим трафаретам) дворянин Пушкин должен был бы проявлять к этому своему герою, что «социологи» вынуждены придумывать на сей предмет специальные концепции, насильственно возвращающие Пушкина его «братьям по классу».

Говорят: Пушкин, мол, принимал Пугачева, но без «пугачевщины».

Правда, сам пушкинский Пугачев говорит, что его ребята — «воры»; но в какой связи об этом говорится? «Мне должно держать ухо востро: при первой своей неудаче они свою шею выжуют моею головою». Пугачев предсказывает, что его выдадут; вспомните восьмую главу «Истории»: «Что же? — сказал Пугачев. — Вы хотите изменить своему государю? — Что делать! отвечали казаки и вдруг на него кинулись. Пугачев успел от них отбиться. Они отступили на несколько шагов. —

¹ «С вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой» пугает Марью Ивановну Швабрин. «Молодая Харлова имела несчастье привязать к себе самозванца». «Пугачев поражен был ее красотой и взял несчастную к себе в наложницы...» (История Пугачева, глава вторая и третья).

Я давно видел вашу измену...» Вот почему он говорит о «ворах».

«Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время». Непростительной наивностью было бы приписывать такое намерение самому Пушкину. Эти слова относятся к той фабульной мотивировке, о которой сказано выше. К тому же «среды злодеев» нет в пушкинской повести: один Белобородов, да и его «злодейство» — осмысленное.

Наконец, как быть с теми цитатами, из которых ясно, что симпатии Пушкина направлены не на одного Пугачева, но и на пугачевцев?

И что стал бы делать Пушкин с «Пугачевым без пугачевщины»?

Вот мой Пугач: при первом взгляде
Он виден: плут, казак прямой;
В передовом твоём отряде
Урядник был бы он лихой.

Нужно ли доказывать, что это — шутка. Если бы Пушкин интересовался Пугачевым с этой стороны, он написал бы не «Историю Пугачева» и не «Капитанскую дочку», а повесть о лихом уряднике из отряда Дениса Давыдова.

Казачеству — но не в таком, разумеется, смысле — приписывает особое значение М. Н. Покровский, предлагающий объяснение более тонкое и остроумное, чем эта концепция «Пугачева без пугачевщины». «Для Пушкина Пугачев вовсе не вождь крестьянской революции, направленной сознательно против господ. Пугачев для него предводитель казачьего восстания, к которому «чернь присладала, как пристрает она ко всякому беспорядку, обещающему облегчение ее положения и грабеж». Но казаки — это совсем не то, что крепостные»¹.

М. Н. Покровский неправильно истолковывает точку зрения Пушкина: «Пугачев объявил народу вольность, истребление дворянского рода, отпущение повинностей и безденежную раздачу соли». Как же не вождь крестьянского восстания? «Весь черный народ был за Пугачева... Одно дворянство было открытым юбразом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны»². О казачестве здесь не сказано ни одного слова. Противоречие, которое пытаются устранить рассмотренные выше концепции, остается в силе: дворянин Пушкин, отчетливо сознавая антидворянскую направленность пугачевского движения, любит тех, кого любить ему вовсе не полагается.

¹ М. Н. Покровский, Пушкин-историк. Пушкин. Изд. «Красной нови», т. V, стр. 10.

² «Пушкин, — правильно замечает по этому поводу И. Сергиевский, — представлял себе соотношение столкнувшихся в крестьянской революции классовых сил с предельной трезвостью» (Проблема тенденциозности у Пушкина. «Литературный критик» 1936 г. № 5, стр. 66—67).

7

Положительный герой повести Гринев с большой личной симпатией относится к Пугачеву, но не переходит на сторону пугачевцев, как это делает отрицательный герой, Швабрин. Как известно, в первоначальных планах повести вместо двух этих персонажей действовал один (Пушкин называл его Шванвичем, Башаринным, Валуевым)¹. Лишь в дальнейшей работе над повестью образ этот раздваивается.

«Швабрин набросан прекрасно,— писал Пушкину В. Ф. Одоевский,— но только набросан; для зубов читателя трудно пережевать его переход из гвардии офицера в сообщника Пугачева... Швабрин слишком умен и тонок, чтобы поверить возможности успеха Пугачева и не довольно страстен, чтоб из любви к Маше решиться на такое дело... Покамест Швабрин для меня имеет много нравственно-чуждого; может быть как прочту в третий раз, лучше пойму»².

Высказывалось предположение, что в первоначальном замысле повести переход Шванвича к Пугачеву мотивировался «старыми семейными счетами Шванвичей с Екатериной II» — предположение правильное, но отсюда делали неверный вывод: значит, этот переход понимался Пушкиным как личная трагедия одного из членов господствующего класса, как нечто случайное.

Вывод этот неправилен вот почему. Мы знаем, какое огромное значение придавал Пушкин в своих исторических и политических теориях «беспокойному дворянству», этой «страшной стихии мятежей». Ведь 14 декабря Пушкин, как известно, объяснял упадком старинного дворянства. Та связь, в которую Пушкин ставил дворянский революционизм (в частности, свой собственный), «старо-дворянское» оформление этого революционизма у Пушкина³ вводили в заблуждение многих исследователей, принимавших Пушкина за реакционного дворянина.

В пушкинском понимании история дворянской фронды была историей дворянской революционности, историей, которая ведет к 14 декабря и, может быть, дальше — к «новому возмущению». Об этом не нужно забывать, когда идет речь о толковании «Моей родословной» или знаменитых слов: «семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа».

В истории борьбы «беспокойного дворянства» с придворной «новой знатью» и правительством,— как понимал эту историю Пушкин,— восшествие на престол Екатерины II (1762 г.) было очень важным и знаменательным событием.

«Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила⁴ на счет народа и унизила беспокойное наше дворянство». «Мы видели, каким образом Екатерина унизила дух дворянства. В этом деле ревностно помогали ей любимцы».

¹ См. шеститомник, т. IV, (1936, стр. 592—593).

² Переписка, под ред. Саитова, т. III, стр. 423.

³ Мы писали об этом в статье «Шестисотлетнее дворянство» («Литературный критик» (1936, № 7).

⁴ Редакторы шеститомника предполагают, что здесь пропущено слово «их».

«Петр. Уничтожение дворянства чинами. Майоратства — уничтоженные плутовством Анны Ивановны. Падение постепенное дворянства; что из этого следует? Восшествие Екатерины II, 14 декабря и т. д.»

Упрямства дух нам всем подгадил.
В родню свою неукротим,

.
И был за то повешен им.
.

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Минич, верен оставался
Падению третьего Петра.
Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость в карантин.
И присмирел наш род суровый,
И я родился мещанин.

В первоначальном тексте «Дубровского» Пушкин писал: «Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров, родственник княгини Дашковой, пошел в гору». Дубровский должен был подать в отставку. Правильно указывалось, что и отец Гринева выходит в отставку в 1762 г. и — как дед Пушкина — стоит на стороне старо-дворянской оппозиции против «новой знати».

Нужно вспомнить еще следующие весьма замечательные строки из XIV главы «Капитанской дочки». «Как! повторял он, выходя из себя. Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..» Прошлое рода Гриневых (как и рода Пушкинских) очень интересное. Волынский и Хрущев — это опять-таки страница из истории дворянской, шляхетской оппозиционности.

Таким образом счеты Шванвичей с Екатериной II, Орловыми и «новой знатью» вовсе не были для Пушкина чем-то «случайным». Пушкин воспринимал все это в очень важном для него историческом и политическом контексте. Во все не случайно то, что Гринев-отец и Дубровский-отец не просто дворяне, а именно дворяне фрондирующие.

Таковы отцы; куда пойдут их сыновья? Пушкин спрашивает: в каком отношении окажется эта «стихия мятежей» к другой стихии мятежей — крестьянской? Пушкина беспокоит не вопрос о том, как бы избежать крестьянской революции; вопрос ставится им по-другому: могут ли сомкнуться эти две стихии, нужно ли им сомкнуться, хорошо ли это будет? Эта не забота о предотвращении революции, а попытка найти выход из той ситуации, которая сложилась после разгрома декабристов.

Пушкин отказался от «старо-дворянской» мотивировки перехода Шванвича-Швабрина к пугачевцам вероятно не потому, что опасался цензуры. «Дворянски-фрондерская» мотивировка участия в крестьянском восстании



Оренбург (XVIII в.)

была бы просто неверной, нереалистичной. Фрондирующие дворяне были чрезвычайно далеки от дворянской революционности декабристского типа, а уж от какого-либо сочувствия крестьянским восстаниям и подавно. Пушкин подошел к проблеме как художник-реалист, изобразив возмущение фрондирующего дворянина, старика Гринева: дворянин может умереть на лобном месте, может пострадать с Волынским и Хрущевым, но изменить присяге, соединиться с холопьями! «Стыд и срам нашему роду!»

В. Ф. Одолевский в значительной степени прав. В Швабрине действительно много «нравственно чудесного». По своему развитию он стоит несравненно выше Гринева. «Его переход из гвардии офицера в сообщники Пугачева» требовал какой-то идеологической мотивировки. Такая мотивировка в повести отсутствует¹, — опять-таки не только по соображениям цензурного порядка. Можно ли было бы представить себе среди пугачевцев дворянина с перенесенной в XVIII век идеологией декабриста? — Нет. Можно ли было бы представить себе в вой-

¹ В писавшейся почти одновременно с пушкинским «Дубровским» повести Лермонтова «Вадим» — юношеском, сугубо романтическом произведении — переход героя-дворянина к пугачевцам мотивирован желанием отомстить за отца: «...мысленно я пожирал все возможные чувства, чтобы под конец у меня в груди не осталось ни одного, кроме злобы и мщенья...» Несчастье отца Вадима сходно с несчастьем отца Дубровского. «Друг твоего отца открыл старинную тяжбу о землях, выиграл ее и отнял у него его имение». «Бог потрясает целый народ для нашего мщенья...» К пугачевцам, которые для этого романтического Вадима только орудие его мести, он относится с презрением: «дворяне гибнут; надобно же игрушку для народа... без этого и праздник не праздник!.. вино без крови для них стало слабо...» Вадим называет пугачевцев «подлыми рабами».

сках «Петра Федоровича» Пугачева человека вроде Радищева? — Нет¹. Сведения о фактически принимавших участие в пугачевском восстании дворянах достаточно скудны, но, конечно, эти люди — подпоручик Шванвич или обвинявшийся в «неуказном винном курении» сержант Аристов — не радищевцы, не «идеологи».

Радищев, декабристы — эти лучшие люди из дворян — «страшно далеки от народа». Такой идеологии, которая могла бы заполнить эту пропасть, не было, ее нужно было создавать; трактовка образов крестьянского восстания в «Капитанской дочке» объективно содействовала выработке этой идеологии; но дать реалистический образ дворянина-идеолога, присоединяющегося к пугачевцам, Пушкин не смог, потому что материалов для создания такого образа не было в самой действительности.

Когда сопоставляют трактовку Пушкиным образов Гринева и Швабрина, обращают внимание на одну сторону дела; подчеркивают, что в этой трактовке выразилось отрицательное отношение Пушкина к дворянину — участнику крестьянского восстания. Между тем, нужно видеть и другое: реальные отношения, те объективные границы, которые художник-реалист находит в самой отражаемой им действительности.

8

В своей статье «Пушкин-историк» М. Н. Покровский приводит известный эпизод из седьмой главы «Истории Пугачева»: рассказ о том, как заводские крестьяне («эта сволочь большею частью безоружная») голыми руками отбили у гимназистов пушку. «От эпитета «сволочь», — торжествующие восклицает М. Н. Покровский, — революционеров ничто не могло избавить под пером нашего поклонника Пугачева, — раз это были взбунтовавшиеся крепостные крестьяне». По мнению М. Н. Покровского, «Пушкин был барин-крепостник, но приличный, без «эксцессов». Это надо сказать прямо и просто...². Может быть такая снисходительность излишня, может быть даже и не совсем «приличный» — если так безобразно ругается?»

Д. Якубович заметил уже по этому поводу: «Можно возразить против исключительно бранного толкования слова «сволочь», принятого Покровским. Это слово вообще имело значение «сброд» (ср. у Фонвизина)³. Хотя это и может показаться смешным, но нужно остановиться на этом подробнее: ведь обвинение, с которым выступает против Пушкина М. Н. Покровский, вовсе несмешное.

¹ Ср. в «Путешествии из Петербурга в Москву»: «Приведите себе на память прежние повествования. Даже обольщение «юлико яростных сотворило рабов на погубление господ своих. Прельщенные грубым самозванцем, текут ему во след и ничего толком не желают, как освободиться от ига своих властителей; в невежестве своем другого средства к тому не умыслили, как их умерщвление. Не щадили они ни пола ни возраста. Они искали паче веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз».

² М. Н. Покровский, цит. статья, стр. 9—10.

³ Д. Якубович, Обзор статей и исследований о прозе Пушкина с 1917 по 1935. Пушкин, «Временник», I, стр. 313.



Казань (XVIII в.)

Д. Якубович прав. М. Н. Покровский делает непростительную для историка ошибку, воспринимая в пушкинском тексте это злополучное слово так, как если бы Пушкин был писателем XX столетия.

Конечно, и в пушкинские времена это слово не было ласкательным. Грубое, простонародное (ср. одобрителный отзыв Пушкица о катенинском переводе «Леноръ»: «...сия простота и даже грубость выражений, сия сволочь, заменившая воздушную цепь теней, сия виселица вместо эльских картин неприятно поразили непривычных читателей...» Пушкину, напротив, все это правилось), но вовсе не бранное слово. «Сволочь, чи, с. ж. 4 скл. простонар. Собрание, скопище, сходбище разных людей низкого состояния. В этом доме живет всякая сволочь»¹. В точности в этом смысле это слово применяется и Пушкиным: как определение случайного подбора людей — «с бора да с сосенки», в противопоставление однородным, регулярным, организованным совокупностям (например, казачьим отрядам). Примеров, подтверждающих все это, можно было бы привести огромное количество. «Войско его состояло из трехсот яицких казаков и ста пятидесяти донских, приставших к нему накануне, и тысяч до десяти калмыков, башкирцев, ясачных татар, господских крестьян, холопов и всякой сволочи». «Он отсюда набирал новую сволочь, соединяясь с отдельными своими отрядами...»

Не стану их надменно браковать,
 Как рекрутов, добившихся увечья,
 Иль как коней, за их плохую статью,—
 А подбирать союзы да наречья;
 Из мелкой сволочи вербу рать.
 Мне рифмы нужны; все готов сберечь я,
 Хоть весь Словарь; что слог, то и солдат —
 Все годны в строй: у нас ведь не парад.

(«Домик в Коломне»)

¹ Словарь Академии Российской по азбучному порядку расположенный. Часть VI, 1822, стл. 74. Позднее Даль отмечает уже тот (другой, бранный) смысл («дрянной люд, шатуны, ворышки, негодяи, где либо сошедшиеся»), который в пушкинском применении этого слова еще отсутствовал.

«Увидя стройное войско, Михельсон не мог сначала вообразить, чтоб это был остаток сволочи, разбитой накануне, и принял его (говорит он насмешливо в своем донесении) за корпус генерал-поручика и кавалера Декалонга...» Достаточно «сволочи» выстроиться, чтобы она перестала быть «сволочью». Там, где Пушкин считает необходимым какие-то осуждающие характеристики, он говорит о «разбойниках», «злодеях», «грабителях» (чаще всего он называет восставших, не осуждая их, просто «мятежниками»), но не о «сволочи». Не имеет ни ругательного, ни даже просто осуждающего смысла это слово и в том эпизоде, на который ссылается М. Н. Покровский. С чего бы в самом деле вдруг осыпаться бранью безоружных людей, идущих на приступ (подгоняемых к тому же казаками нагайками)?

М. Н. Покровский, подходя к пушкинскому словарю с таким нехорошим «социологическим» пристрастием, не хочет замечать у Пушкина построений, в которых таким словам как «чернь», «подлый» и т. д. поручаются совершенно особые функции.

«Мужик, подлая тварь! Извините, граф, я с ним управлюсь... Вон!.. (толкает его в спину). Чтобы духа твоего здесь не было!» «Подлецы, собаки, вот мы вас!» «Это бунт — подлый народ бьет рыцарей...» «Помиловать его!.. Да вы не знаете подлого народа. Если не пугнуть их порядком да пощадить их предводителя, то они завтра же взбунтуются опять...»

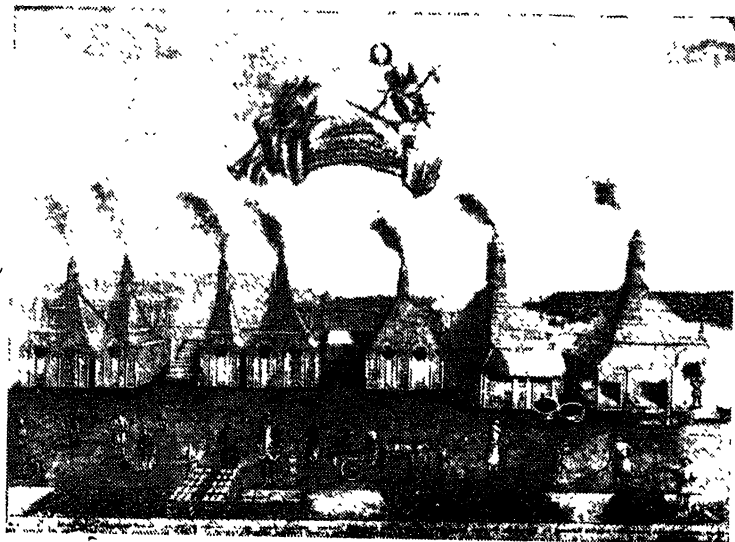
Кто это говорит — «барин-крепостник» Пушкин? — Нет, это говорят изображаемые Пушкиным рыцари («Сцены из рыцарских времен»). Но может быть Пушкин им сочувствует? Нет, сочувствие Пушкина явно, бесспорно и несомненно не на стороне рыцарей, и не на стороне буржуа Мартына («А мне черт ли в истине, мне нужно золото»); герои Пушкина — поэт, дерущийся вместе с крестьянами против рыцарей (это не русский дворянин XVIII столетия, здесь можно было сделать то, чего нельзя было сделать со Швабриным), и ученый: «Золота мне не нужно, я ищу одной истины». «Perpetuum mobile», то есть вечное движение. Если найду вечное движение, то я не вижу границ творчеству человеческому... видишь ли, добрый мой Мартын: делать золото задача заманчивая, открытие может быть любопытное — это найти perpetuum mobile!... о!...»

В одном из последних своих стихотворений Пушкин писал:

Иль опасаетесь, чтобы чернь не оскорбила
Того, чья казнь весь род Адамов искупила,
И чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда простой народ!

Кто это говорит — барин-крепостник?

Со всей наглядностью обнаруживается здесь, как преодолевает классовую ограниченность Пушкин. Он знает: вот оно дворянское отношение к народу; таким видят народ господа; Пушкин не только не разделяет этой точки зрения своих «братьев по классу»; он фиксирует ее как нечто чуждое, неприемлемое для него, Пушкина; он делает ее объектом критического, враждебного изображения; он говорит о ней с гневом и негодованием.



Общий вид медеплавильных печей турчаниновских заводов на Урале

Так Пушкин осознает то, что может быть названо проблемой классового видения. Вот урок для тех, кто утверждает, что великие художники буржуазии и дворянства видят действительность так и только так, как видит ее их класс. Пугачев говорит Гриневу: «Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья». И Гринева и Пушкин действительно это видят. Пушкинская повесть есть художественная реализация именно этой формулы, а отнюдь не тезиса о «бессмысленности и беспощадности».

Пушкин знает, каким «его братья», дворянство, видит крестьянское восстание и его вождя, и что эта «братья» говорит о Пугачеве и пугачевцах. «Если верить философам, — писал Броневский, — что человек состоит из двух стихий, добра и зла, то Емелька Пугачев бесспорно принадлежал к редким явлениям, к извергам, вне законов природы рожденным; ибо в естестве его не было и малейшей искры добра, того благого начала, той духовной части, которые разумное творение от бессмысленного животного отличают. История сего злодея может изумить порочного и вселить отвращение даже в самих разбойниках и убийцах. Она вместе с тем доказывает, как низко может падать человек, и какою адскою злобою может быть преисполнено его сердце».

Пушкин с величайшим пренебрежением отстраняет эту «точку зрения»: «Политические и нравоучительные размышления, коими г. Броневский украсил свое повествование, слабы и пошлы и не вознаграждают читателей за недостаток фактов, точных известий и ясного изложения происшествий».

С другой стороны, Пушкин знает, как смотрит народ на дворян-

ство; Пушкин не скрывает, не смазывает обнаруживающейся здесь антагонистичности¹. Это не значит, что сам Пушкин усваивает эту народную точку зрения в ее непосредственности; это и не нужно было; непосредственно из народа нельзя было бы увидеть, например, Онегинных и понять их; а увидеть их и понять было необходимо — в конечном счете для того же народа. На известном этапе нашего исторического развития великим народным художником должен был стать преодолевающий классовую ограниченность «своей братьи» дворянский художник.

Пушкин рассказал о том, каким видит народ дворянина:

Прибегал тут волк-дворянин:
У него-то зубы закусивые,
У него-то глаза завистливые.

С несомненным удовольствием Пушкин записывает: «В другой раз некто** симбирский дворянин, бежавший от него (Пугачева — В. А.) приехал на него посмотреть и, видя его крепко привинченного на цепи, стал осыпать его укоризнами...** был очень дурен лицом, к тому же и без носу. Пугачев, на него посмотрев, сказал: «Правда, много перевешал я вашей братьи², но такой гнусной образины, признаюсь, не видывал».

Пушкин явно доволен: хорошо Пугачев ответил.

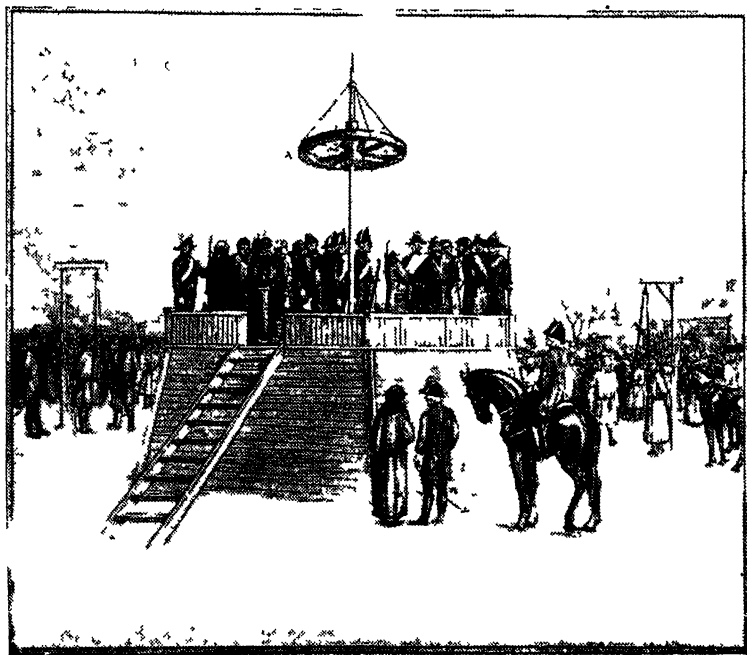
Таким образом не только на основе общетеоретических соображений, но и на совершенно наглядных примерах можно убедиться, как был неправ по отношению к Пушкину Плеханов, когда писал (в соответствии со всей своей гносеологической концепцией): «Как бы ни были добры и гуманны эти наши великие художники, несомненно все-таки то, что дворянский быт изображается у них не со своей отрицательной стороны, т. е. не с той стороны, с которой обнаружилось

¹ Пушкин изобразил преданного господам Савельича вовсе не как универсальный тип крепостного крестьянина и не как образец, которому надлежит подражать. Савельичи были; образ — верный; но были (и Пушкин об этом говорит) не только Савельичи.

² Ср. с песней:

Судил тут граф Панин вора Пугачева:
«Скажи, скажи, Пугаченька, Емельян Иванович,
Много ли перевешал князей и боярей?»
«Перевешал вашей братьи семьсот семи тысяч.
Спасибо тебе, Панин, что ты не попался:
Я бы чину-то прибавил, спину-то поправил,
На твою-то бы шею варовинны вожжи,
За твою-то бы услугу повыше подвесил!»

Очень ценен рассказ П. И. Долгорукова о настроениях Пушкина в 1822 г. — не нужно только делать отсюда преувеличенных выводов и превращать Пушкина — даже Пушкина 1822 г. — в пугачевца. Достаточно важно одно то, что Пушкин мог говорить такие вещи: «Наконец, полетели ругательства на все сословия. Штатакие чиновники — подлецычи воры, генералы — скоты большего частью, один класс земледельцев — почтенной. На дворян русских особенно напал Пушкин. Их надобно всех повесить, а есть ли б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли» (В. Бонч-Бруевич, Ценный документ о Пушкине. «Правда», 11 декабря 1936 г.).



Казнь Пугачева, По рис. Болотова

бы противоречие интересов дворянства с интересами крестьянства, а с той, с которой это противоречие совсем незаметно...¹.

«Капитанская дочка» — одно из величайших проявлений реализма и народности в пушкинском искусстве.

Народное творчество не было для Пушкина каким-то нейтральным материалом, откуда можно заимствовать интересные частности, образы и обороты, безобидные декоративные мотивы для литературного вышивания. «Волк-дворянин» — для вышивания это не подходит. Пушкин воспринимал народное творчество с теми чаяниями и стремлениями, которые в этом творчестве выражались; он не боялся в этом творчестве того, что враждебно противостояло «дворянской братии»². В этом и заключа-

¹ «и с которой, — продолжает Плеханов, — дворянин, живший более или менее суровой эксплуатацией крестьянина, все-таки оказывается человеком, способным понимать и переживать многие важнейшие человеческие чувства: стремление к истине, искание серьезного общественного дела, жажду борьбы, любовь к женщине, наслаждение природой и т. п. и т. п.» (Плеханов, Н. А. Некрасов, соч. т. X, стр. 370) Мы уже говорили, что и эта сторона — в особенности, поскольку речь идет о судьбах первого поколения в истории русского общественного движения, о лучших людях из дворян, — имеет значение для народа.

² Поэтому совершенно неверны такие, например, утверждения: «принадлежностью к состоятельному помещичьему кругу, обработанному столичной культурой с XVIII еще века и с тех пор увлеченному литературным творче-

ется величайшая победа народности в пушкинском искусстве. Вряд ли будет преувеличением сказать, что само пугачевское восстание было для Пушкина проявлением народного творчества.

«Народ, его язык, его характер и эпос — вот та почва, в глубину которой уходят корни пушкинского гения¹.

Народность и реализм в пушкинском искусстве — не отдельно друг от друга существующие особенности этого искусства. Объективное отражение действительности необходимо предполагает объективное отражение народа, с его чаяниями и стремлениями; так эти чаянья и стремления проникают в пушкинское искусство; оно реалистично, и поэтому народно. И наоборот: оно народно и поэтому реалистично. Объективность не обозначает какого-то равнодушия, бесстрастия; такое объективное отражение становится возможным лишь благодаря личной, эмоциональной связи, лишь благодаря тому, что художник любит эти народные массы.

Интерес Пушкина к образу дворянина-отщепенца, к крестьянским движениям, к дворянам, которые принимали участие в пугачевском восстании, объясняется, повторяем, не так, как говорят об этом сторонники «теории страха». Отчетливо сознавая бессилие дворянских революционеров, Пушкин спрашивает себя: могут ли, должны ли они соединиться к крестьянскому движению.

Пушкин отвечал на этот вопрос отрицательно. То, чего достиг Пушкин в «Капитанской дочке» так значительно и огромно, что незачем замалчивать это отрицание, замалчивать это противоречивое отношение Пушкина к своей теме. Это противоречие, которое тщетно пытаются «снять» различные интерпретаторы, «снимается» не той или иной более или менее остроумной интерпретацией — оно «снимается» последующим развитием русского общественного движения.

Крестьянское восстание, которое Пушкин изобразил с такой объективностью и любовью, для политического сознания Пушкина было неприемлемым. Не будем требовать от Пушкина того, чтобы он, оставаясь Пушкиным, был кроме того еще и Чернышевским: это слишком много для одного человека, даже такого человека, каким был Пушкин.

9

После появления передовых о Пушкине в «Правде» и статьи А. М. Горького, прежние адепты вульгарной социологии не говорят уже о шестисотлетнем, капитализирующемся, мелкопоместном и крупнопоместном дворянстве. В писаниях бывших социологов встречается теперь даже слово народность; к сожалению, только слово.

Еще не так давно «социологи» обвиняли своих критиков в том, что

ством, могут быть объясняемы у Пушкина как его влечение к изобразительным чертам русского простонародья, так и характер пользования этими чертами» (А. Орлов, Народные песни в «Капитанской дочке». Художественный фолк-жур, II-III, 1927 г., стр. 81).

¹ «Привить школьникам любовь к классической литературе». «Правда», 8 августа 1936 г.

будто бы эти последние, говоря о народности, упраздняют тем самым исторический, классовый анализ произведений великих художников прошлого. Критики вульгарной социологии убедительно доказали неосновательность такого обвинения и с полным правом могут теперь припомнить и вернуть «социологам» эти упреки: вы говорите о народности пушкинского творчества, не раскрывая содержания этого понятия, вы не можете ответить на вопрос, чем отличается народность пушкинского творчества от народности Шекспира, Бальзака, Толстого.

Раскрытие народности пушкинского творчества вовсе не противоречит историческому анализу этого творчества. В той же передовой «Правды», где говорится о народности, как о почве, в глубину которой уходят корни Пушкинского гения, говорится и о том, что Пушкин «был сыном своего класса и своего времени».

Борьба ведется против вульгарной социологии, отнюдь не против гражданской истории, которая во всем ее богатстве, во всей ее конкретности подымается теперь (все мы помним указания товарища Сталина, Кирова и Жданова по поводу конспектов учебников истории) на новую более высокую ступень. И вопрос об отношении Пушкина к его эпохе и классовой борьбе его эпохи вовсе не снимается.

Неоднократно приходилось уже говорить о том, что, отвечая на эти вопросы, нужно снова и снова обращаться к гениальной ленинской концепции смены поколений, смены классов, действовавших в русском освободительном движении. Ленин показывает, как в этой смене классов расширяется круг борцов и усиливается их связь с народом, как это освободительное движение становится все более народным. Это путь к нашей революции, путь к социалистической народности. Вот та связь, в которой нужно искать и ответа на вопрос о классовой сущности и исторической роли пушкинского творчества — и непосредственного, живого ощущения преемственности, нашего кровного родства с этим творчеством.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Ж У Р Н А Л
ЛИТЕРАТУРНОЙ ТЕОРИИ
КРИТИКИ
И ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

К Н И Г А
П Е Р В А Я



Г О С Л И Т И З Д А Т
1 9 · Я Н В А Р Ь · 3 7